

Епископ Григорий
(Дурич)

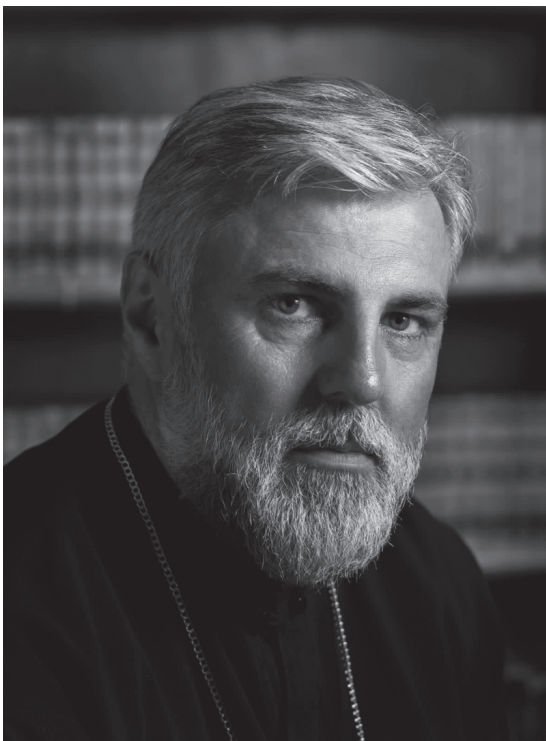
ЗА ПОРОГ

*Перевод с сербского
Михаила Сердюка*



Томск - 2021

Фото: Никола Маркович



Епископ
Дюссельдорфский
и Германский
Григорий
(Дурич)

Григорий Дурич

ПОРОГ

Матери и отцу

Мать всегда чувствовала, когда со мной случалось что-то значительное. Это, наверное, свойственно всем матерям. Поэтому порой мне бывало обидно, когда она не принимала всерьёз то, что для меня было важным. Когда длительным своим молчанием или неким походя брошенным словом ставила точку на моей драме.

Я хорошо помню один августовский день. Небо было ясным и чистым, лишь вдалеке плыло спокойное облако. Из дома доносился приглушённый говор женщин, которые, на удивление, вели себя намного тише, чем обычно. Перед домом в саду оживлённо разговаривали соседи и близкие, собравшиеся вокруг празднично накрытого стола. Обрывки разговора, смешанные с жужжанием пчёл и пением птиц, долетали до порога, на котором я, облачённый в синие брюки и праздничную светло-голубую рубашку, сидел отсутствующе и задумчиво. Время от времени я поглядывал на нависающую над домом гору. Я хорошо знал её и очень любил – так, как может знать и любить только хороший, добрый друг. Все мы любили родную нашу гору, порой капризную и непредсказуемую – ведь испокон веков она была не только прибежищем и кормилицей, опорой и заслоном, но и свидетельницей трудов и борьбы за жизнь в тех необычных пределах моего детства.

Меня насквозь пронизывала мысль, прочитанная где-то у Андрича¹ несколькими днями ранее. «Самая высокая вершина, которую человеку дано перейти – это порог его дома», – звенели в моих ушах Андричевы слова. Мать то и дело выглядывала из дому, устремляя на меня беглый немой взгляд – его ей было достаточно, чтобы понять, как я себя чувствую. Она в тот день тоже была другой, словно каким-то особенным материнским чутьём угадывая разворачивающуюся во мне борьбу. В её упорном молчании я мог почувствовать невысказанный упрёк: «Хорошо, как хочешь. Это твой выбор». Расставание давалось ей тяжело, но я знаю, что она никогда не воспротивилась бы моему решению. Она никогда не позволяла мне сидеть на пороге, считая это неприличным, но в тот день не вымолвила ни слова.

С порога нашего небольшого скромного дома, выстроенного покойным отцом, простирался вид, который нередко и сегодня, лишь закрою глаза, открывается передо мною. Ребёнком я не понимал значения и важности этого вида. Кажется, только теперь я могу осознать всю полноту его смысла. Не сумею сказать, был ли он красивее осенью, когда золото на красном пробивается сквозь густые горные леса и опустевшие луга, или зимой, когда тяжёлые снега спускаются на отвесные склоны, словно одевая их тишиною. С этого порога я любил наблюдать пробуждение весны и слушать мелодию многочисленных ручейков, струящихся через горные ущелья в долины, а летними ночами вслушиваться в стрекотанье скрытых во мраке сверчков. Каждое утро, в любое время года, стоило мне только открыть глаза – я видел чудесные картины и слышал самые необычные звуки. В этих воспоминаниях я и сегодня храню память о своём детстве.

В тот день, сидя на нашем домашнем пороге, я мысленно призывал эти близкие и дорогие моей душе картины. Солнце приближалось к зениту недвусмысленным признаком того,

что близится час отъезда. Я вошёл в комнату, помолился перед иконами, поцеловал образ нашего святого защитника, а потом повернулся к тому месту, где четырёхлетним мальчиком, без слов, целовал умершего отца, прощаясь с ним в последний раз. Мать сдержала слёзы. Проводила меня неслышно, невысказанными словами ободрения, которыми все годы детства подбадривала меня, словно обнимая какой-то невидимой третьей рукою.

Прочих людей я уже и не припомню. Помню, что смотрели они добродушно и тепло, но были для меня в тот момент необычно далёкими и чужими. Взяв небольшой чемодан, купленный несколькими днями ранее специально для этого случая, я без слёз и без оглядки медленно пошёл тропой, что спускалась к шоссе. В голове моей стучало слово «порог», заглушая и оттесняя всё остальное. И шаг, которым я его в тот день переступил, вместил в себя, как мне кажется, всю мою жизнь.

Я так и не перестал его вспоминать. Был это изрядно высокий порог, сделанный из цельного куска дерева. Как же он стал так важен для меня? Была в этом виновата Андричева мысль или моя сознательная приверженность? Всё едино, при каждом значимом шаге в жизни у меня появлялось ощущение, что опять стою я перед тем порогом, спрашивая себя – а действительно ли я его переступил? И чем больше лет проходит, тем сильнее хочется мне к нему вернуться, восстановить его – потому что, даже давно разрушенный, он живёт во мне, словно некая невидимая граница, которая хранит меня от блужданий и возвращает меня к началу, наполняя смыслом все остальные мои шаги.

И хотя переступал я много порогов в жизни, лишь некоторые из них имели для меня важность. Со страхом вспоминаю порог своей средней школы, с благоговением – три порога Хиландара², с восхищением и восторгом – порог Святой Софии в Царьграде, с любовью – порог монастыря Тврдош.

Шагал я и за многие другие пороги, знаменитые и известные. Но они никогда не были для меня настолько значительны, никогда не стали в самом деле моими. Таковыми единственно становятся лишь те пороги, шагая за которые, мы шагаем в жизнь.

ПОЕЗДА

Поезда я полюбил ещё в самом раннем детстве. Мой отец был железнодорожником – вот, видимо, его любовь и интерес к поездам передались и мне. Сперва я, ещё совсем маленьким, наблюдал, как они, гружённые рудой, проходят мимо дома моей тётки Станы. Часто это были большие составы, особенно в глазах ребёнка. Длинный поезд, перевозящий руду, назывался «специалист». Смотрелся он очень мощно, когда пыхтел через гору, периодически оглашая окрестности знакомым гудком. Но если электровоз вызывал восхищение, то на паровую машину все смотрели немного насмешливо, хотя никто не мог отрицать, что и она тоже поезд. Наш шахтёрский городок служил подлинным убежищем для одного такого старого паровоза: Вареш, мне кажется, был последним местечком в мире, где всё ещё функционировала паровая машина.

Я не помню, когда первый раз вошёл в поезд. Всё говорит о том, что было это ещё в том возрасте, когда я себя не признавал. Мой отец разболелся, когда мне было три года, и часто пребывал в сараевской больнице, на Кошево. Мы с матерью и братом поездом ездили его навещать. У нас даже была скидка, так называемый льготный билет, потому что и мой отец, и отец моего отца, дед Любо, были железнодорожниками.

Вероятно, поэтому всегда, встретив железнодорожника, я ощущаю к нему какую-то задушевную, родственную симпатию, хотя не знаю ни кто он, ни откуда. Более того, при таких встречах меня всегда посещает наивная детская мысль: должно быть, и он знал моего отца!

Значит, моя первая встреча с поездом случилась ещё в то время, когда я не сознавал того, что вокруг меня происходит. Когда я вырос, мать мне рассказывала, как однажды какой-то господин, сидящий в поезде напротив нас, спросил меня, четырёхлетнего, умею ли я читать. Я ответил, что умею, хотя на самом деле знал лишь некоторые буквы. Пожилой человек усомнился в моём ответе и попросил прочитать ему надпись под окном, а я как из пушки выпалил: «Не высовывайся в окно – можешь выпасть!». Все смеялись, особенно мать, которая часто во время наших поездок читала вслух фразу, написанную под окном, объясняя мне её значение. Позже я это предупреждение выучил и на немецком языке. Как сейчас, ясно вижу маленькую металлическую пластинку, на которой чёрными буквами выведены слова: «Lehnen Sie sich nicht aus dem Fenster!».

Поезда со временем стали для меня настоящей средой обитания. Наверняка найдутся такие, кто путешествовал много чаще, чем я; но для меня каждая поездка в поезде была неповторимым событием. Помню я и большие, и малые поезда, местного сообщения и международные: как от Вареша до Подлугова и от Сараева до Белграда, так и от Москвы до Петрограда и от Брюсселя до Амстердама. Путешествовал я различными поездами и всеми классами, от паровозов до самых современных скоростных поездов, но всегда с тем приятным ощущением, которое рождала неизвестность, этим путешествиям сопутствующая.

Если бы я писал о своих путешествиях, сегодня мне бы потребовался целый поезд со многими вагонами, чтобы

поместить в нём все заметки и записи о том, что я видел и слышал в поездах и на попутных станциях. Я бы писал, например, о тех пределах, что наблюдал сквозь затуманенные окна; о своём затаённом смехе при встречах с пьяными путниками; о том, как я плакал, глядя на закат, пока поезд мчал через равнину. Или о лицах людей – я не знал даже их имён, а ведь лица их и сегодня помню. Писал бы и о тех, кто в пути внезапно становился мне близок, чтобы, выйдя из поезда, остаться лишь в бледных воспоминаниях, вроде неких персонажей мечтаний и снов; о том, как я в поезде засыпал и как пробуждался; о пропущенных станциях; о потаённом, но всегда присутствующем сознании того, что в конце всякого путешествия, куда бы ни шёл поезд, меня кто-то или что-то ожидает. Чем больше я о том думаю, тем всё больше уверен, что любовь к поездам свойственна только тем, кто любит тесно связанную с путешествиями неизвестность – ту объединяющую путников неизвестность, делающую всех нас близкими хотя бы до следующей станции.

В то время поезда часто часами стояли на разъездах, ожидая, пока разминутся с другими. И тогда вплотную к нашему пролетал другой поезд с какими-то другими пассажирами. Происходило это с быстротой молнии, и я едва успевал рассмотреть очертания чужих лиц, но никак не мог избавиться от впечатления, что на самом деле тот поезд и люди в нём – это какие-то другие мы: с теми же лицами и теми же жизнями; мы, на мгновение вplывшие в эту нашу действительность из какой-то другой, чужой реальности.

В поездах мне часто задавали вопросы, особенно когда унавали, что я изучаю богословие. От «кто есть Бог», «где есть Бог» и «почему Он допускает войны» до «почему этот поезд здесь так долго стоит». Я из-за тех вопросов никогда особо не переживал. Ведь, по правде говоря, какие бы различные позиции мы ни занимали с моими собеседниками, ни они, ни я

даться никуда не могли – мы были узниками одного мгновения во времени и пространстве, которое нам приходилось делить вне зависимости от наших отношений. Поэтому в этот отрезок времени мы нередко бывали настроены друг к другу приятельски, делясь своим питьём или последним кусочком хлеба.

Только кондукторы были себе на уме. Все они были хорошими психологами. Отлично знали и людей, и жизнь. Когда в купе, особенно если в нём не было других пассажиров, я открывал книгу и начинал читать, один старый кондуктор всегда меня предупреждал со смешком: «Смотри, малой – и глупым-то быть нелегко, а уж умным – тем более. Береги себя!».

В поезде каждая поездка превращалась в драгоценный опыт. Мудрые люди знали: что бы ни случилось – деваться некуда; терпи, покуда поезд не прибудет на твою станцию, только там и наступит другая действительность. Так я очень рано понял, что путешествие поездом во многом похоже на нашу реальную жизнь: все мы на одном и том же пути, сколь бы различны мы ни были, и поэтому надо терпеть. И осознание этого сближает путников, способствуя взаимопониманию. Поэтому поезд в моих глазах обретал почти онтологическую мощь. Он становился похож на большой движущийся дом. В нём едут и те, кто прячется за ложными представлениями: воришки, лгуны, завистники... Но в пути всё ложное раскрывается: каждый характер получает своё настоящее имя, а все маски неотвратимо спадают с лиц. Так поезд превращается в реальное жизненное пространство со всеми элементами действительности.

Властвующая в поезде реальность иногда бывает суровой, иногда смешной или радостной, иногда приводящей в растерянность. Поезд может быть путешествующим лагерем, весёлым караваном или кораблём на рельсах. Для меня же поезда издавна были посёлками – полными осмысленной жизни

лишь тогда, когда в них есть люди. Каждого, кто хоть ненадолго вплывает в их мир, поезда вдохновляют необычными уроками и незабываемыми встречами. Наверно, поэтому кем-то однажды было сказано, что там, где нет поездов – нет и жизни. Жизнь есть одно непрерывное путешествие до той станции, которая нас больше всего обрадует – до абсолютного счастья, до места, где нет печали и боли. До места встречи с Тем, Который есть и Который сделал так, что и мы есть. Каждая же наша проходящая радость – это просто попутный полустанок. Поэтому нам нужны поезда. И путешествия. Они открывают нам правду о краткости преходящего и силу тоски по Нетленному.

ЖИТОМИСЛИЧ

Ребёнком я часто ездил поездом. Однажды, ожидая, что мы скоро прибудем в Плоче и увидим море, на одной из попутных станций между Мостаром и Чаплиной я услышал, как кондуктор произносит удивительное и мне тогда неизвестное слово: Житомислич. За время короткой остановки несколько пассажиров вышли из вагона, а в моей голове непрерывно позванивало таинственное и необычное название, которое тихо и неощутимо втянулось тогда в моё сознание, чтобы остаться там навсегда.

Когда поезд снова тронулся, в моём сознании по-прежнему непрерывно кружилось: Житомислич. Слово *жито* вернуло меня в самое раннее детство, в те мгновения, когда мать меня убаюкивала: она, усталая, желала отдыха, тогда как я – разговора и компании.

- Спи, – шептала она.

- Не могу, – бунтовал я.

Приласкав меня, мать потом с лёгким смешком добавляла, чтобы я закрыл глаза и представил себе, как волнуется спелое жито. Бог знает, сколько раз засыпал я с той успокаивающей и всегда разной картиной жита, которое то склоняется, то распрямляется под ласкающим его тихим и мягким ветром.

Картины волнующегося жита в моих мыслях развеял голос кондуктора, объявившего прибытие поезда к месту назначения. Мне показалось, что эта последняя часть пути прошла за мгновение. Я был уверен, что никогда не забуду эту, на первый взгляд неважную, попутную станцию на пути к морю и её загадочное красивое имя, которое я тогда впервые услышал.

Несколько лет спустя Житомир для меня начал воплощаться в живую реальность, во что-то большое и настоящее. Когда я поступил в Богословие³, первое, что я узнал о своём тогдашнем пастыре, митрополите Владиславе, было то, что он с охотой проводит время в монастыре Житомир. Это как-то совершенно естественно сходилось с моими представлениями: самый важный тогда для меня человек церкви жил в местечке с самым необычным именем. А потом началась война. Старый митрополит умер, а сербы были изгнаны далеко из долины Неретвы. Безумие торжествовало свой триумф. А вскоре донеслась и печальная весть, одна из многих, что в те годы доносились: монастырь Житомир разрушен. Казалось мне, что с ним не стало и части моего бытия – той части, в которую это слово было глубоко врезано.

Когда война закончилась, как-то в полдень перед воротами Тврдоша появился лохматый немецкий байкер и вытащил из своего рюкзака огромную шёлковую владычную мантию покойного митрополита Владислава. Скорее всего, этот случайный прохожий, любопытный путник-иностранец, непреднамеренно извлёк её из-под груды камней разорённой святыни.

- Там всё разрушено, – понял я его кое-как. – Я это нашёл. Думаю, что самое лучшее – отдать это тебе. Чтобы хоть что-то осталось от того, что там было.

Мы были благодарны светловолосому лохматому немцу, байкеру и туристу. У него было доброе сердце – и это было всё, что мы знали о нём. Немногим позже я посетил разрушенный монастырь и застал на святом месте лишь уродливую

мерзость разорения. Тогда я и не помышлял об обновлении. В душе моей кружила неопишуемая грусть, а в голове однообразно и непрерывно звенело: Жи-то-мис-лич! Вскоре я и во второй раз вернулся на место опустошения, с тем же неприятным чувством внутри. В этот раз я пришёл не один, и не по своей воле, а по поручению. Была весна, весь в цвету апрель. Внезапно я увидел, что из ствола сожжённого платана стремятся к небу пять новых, боязливых молодых побегов. Громко пели птицы, всё было словно омыто светом; сильное, мощное ощущение новой жизни переполнило моё бытие. В голове моей вдруг сверкнула мысль: иди, целуй престол! «Как же я поцелую престол, – подумал я, – когда всё разрушено?». Двинулся я через развалины к алтарю, вернее, к месту, где он был. Вместо престола лежала груда камней, но среди них я заметил молодой, только что проросший росток кипариса. Его светло-зелёный цвет означал воскресение и новую жизнь.

Тихо, одновременно печально и радостно, собрали мы взорванные кости монахов, погибших здесь в предыдущую войну, в 1941-ом. Я попрощался с ростком кипариса и ещё раз приласкал взглядом молодые веточки опалённого платана. Слегка провёл ладонью по камням разрушенного храма и тронулся назад лишь с одним желанием: чтобы Житомирский снова воскрес.

Так и случилось. Услышал Господь вздохи и молитвы всех убитых и изгнанных из монастыря во все времена, и трудолюбивым ктитора Житомирский был обновлён. А ночью накануне освящения воскресшего монастыря лил невиданный доселе дождь. Мы приготовились к торжеству как нельзя лучше, позвали много гостей – но дождь лил, как из ведра. Те, кто той ночью и утром подъезжали к Житомирскому, рассказывали, что часто были вынуждены останавливать машины, потому что «дворники» не могли справиться с ливнем. Мы смотрели прогноз – всё напрасно, повсюду дождь. И это был не просто

дождь – вода хлестала так, словно в небе над нами порвалась туча. Той ночью, пока капли неустанно барабанили по крыше и по окнам, внешне я был спокоен. «Мы сделали всё, – думал я. – Ничего больше сделать невозможно, это стихия, сила».

Встал я рано, в половине шестого, и вышел на улицу. Вокруг монастыря на своих местах согласно расчёту стояли промокшие полицейские. С фуражки первого, возле которого я оказался, словно из вывернутого крана струёй стекал дождь. Я пожелал ему доброго утра и улыбнулся. Уж не знаю, чего в моём привете было больше – радости или отчаяния. Помню только, что его угрюмый ответ меня окончательно разбудил:

- Будет сегодня весело, – ответил он мне.

Дождь падал волнами. Небо и земля сливались в тёмной мокрой круговерти. Удивительно, но отчаянья я больше не чувствовал. Увидев знакомого человека, верующего, я подошёл к нему.

- Брат, моя вера слаба – я всю ночь следил за прогнозом погоды. Можешь ли ты сделать кое-что для меня?

- Да, – сказал он, глядя на меня ясно и сочувствующе.

- Давай-ка, прошу тебя, помолись, чтобы дождь перестал. Попроси Господа, чтобы сегодня остановил дождь над Жито-мисличем. Тебе и нужно-то для этого только немного веры, – добавил я.

Он так и сделал – было шесть пятнадцать утра. В половине восьмого ливень прекратился. Когда прибыл патриарх, над монастырём всю сияло солнце, а повсюду вокруг хлестали настоящие мостарские дожди – дожди, какие редко можно увидеть и уж вовсе невозможно описать.

На закате дня кто-то из гостей спросил меня с упрёком, почему мы не приготовили солнечных зонтиков, ведь солнце жарило невыносимо. Я лишь изумлённо улыбнулся на это замечание:

- Доверяли прогнозам погоды.

И сегодня, десять лет спустя, когда бы ни посетил я воскресший монастырь, в моей памяти являются эти три картины:

- как скрипит поезд, пока кто-то произносит это удивительное слово: Жи-то-мис-лич;
- как распускаются молодые побеги опалённого платана и смело зеленеет росток кипариса;
- как рассеиваются тучи над Житомишличем.

А потом, пока с чувством радостной грусти я целую мощи монахов-мучеников, перед глазами возникает светлый лик патриарха Павла, как, сгорблен и сед, служит он Божью службу тёплым майским днём 2005-го – тем самым днём, когда воскрес Житомишлич. Помню нахлынувшие приливом свет и радость, помню восторженного и счастливого владыку Атанасия, объяснявшего, что означает это необычное слово – Житомишлич:

- Жито – как хлеб, а Христос есть Хлеб жизни; Мысль – как Логос, а Логос опять же есть Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, за нас распятый и воскресший.

Поэтому всегда, когда вхожу в монастырь Житомишлич, кажется мне, что приближаюсь я к Гробу Господню – тому единственному гробу, который стал источником жизни, и потому он светлее любой из царских палат. Вроде него и Житомишлич. Он ждёт и открыто принимает всех – и тех, кто верует, и тех, кто не верует, непрестанно свидетельствуя о страдании и объявляя о Воскресении.

ОСТРОГ

В Остроге я первый раз побывал ещё ребёнком. Вспоминаю, что дорога была извилистой и поездка в автобусе была сущей мукой. Помню и то, что одет я был в какую-то синтетическую адидасовскую олимпийку, и что в автобусе были одни старики да женщины. Но больше всего запомнилось, что, вопреки всем тяготам путешествия, в конце пути мне стало необыкновенно хорошо.

Всё ещё вспоминаю свежесть воздуха, ласкового и вкусного. Ясно помню ту необычную скалу, с которой я взял три камешка и долго носил их в кармане как амулет. Я совершенно точно знаю, когда, где и как их потерял, и насколько был огорчён из-за этого. С тех пор я не решаюсь носить с собою бронежилет⁴, крестики и прочие вещи, которые для меня имеют особенную ценность.

—

Второй раз я прибыл в Острог спустя много лет, одним июньским вечером 1992 года. Я был пострижен в полночь, и всё то, что этому событию предшествовало – в последние несколько дней и непосредственно перед постригом, – не имею возможности описать. Наутро я ушёл в Верхний монастырь, где получил небольшую келью с единственным крохотным

окном. Всё ещё помню, как, будучи стеснён в том десятке квадратов, я, глядя в это оконце, в сердце своём имел необычное ощущение широты, счастья и облегчения, которое меня ещё долго не покидало. Ту картину, что открывалась у меня перед глазами, когда я любовался острожской стороной, я также не в состоянии описать. В душе я ощущал необычайную тишину, вроде той, что опускается на море после бури. Я совершенно не думал ни кто я, ни какой я, ни существую ли вообще. Помню, что возникла одна какая-то мысль, но и та от меня быстро утекла, до сего дня оставив в памяти лишь радость и тоску. И тогда появилось желание, прочно и надолго оставшееся во мне – стать как птица, которая может парить над этой чудесной долиной, ничего не боясь. Думаю, что это и есть то самое дивное, что Острог предлагает людям, а мы того часто и не осознаём: само это место и всё в нём пробуждает в нас желание неба, вышины, пространства. Всё здесь словно говорит: летите, не бойтесь, будьте свободны.

События тогда развивались очень быстро, это было время войны, и вместо чувства свободы и полёта, вместо запаха горных цветов нередко преобладали ощущение хождения по грязи в свинцовых сапогах, запах смерти и пороха. Между двух этих противоположностей металась и моя несчастливица-душа, которая, ища первого, постоянно натыкалась на второе. Но всеблагий Господь рукою дивного епископа направил меня к опытному духовборцу: на своём духовном пути я тогда встретил острожского отца Лазаря. О нём я до сих пор не в состоянии ни писать, ни говорить – как и о многих других вещах, которые прочно сформировали мою жизнь. Он был одним из тех редких людей, которые ходили по земле с твёрдым убеждением, что из земли произошли и всё ещё с нею прочно связаны, а, с другой стороны, всем сердцем и душой дотрагивались до Неба, тянулись к Небу, радуясь всему доброму и благому. Ту чудесную радость, несравнимую с краткосрочными

радостями наших скудных жизней, можно было почувствовать в его улыбке, которая нам являлась очень редко. Но, когда это случалось, перед нами отворялось Небо...

Отец Лазарь был тем человеком, которому я в святой тайне исповеди открывал своё сердце. Сперва мы молились Богу, а потом он садился и позволял мне говорить. И я, конечно же, всегда вширь и вглубь пустословил. Я знал, что нужно говорить искренне, и что нет причин о чём бы то ни было умалчивать, но всё кружил вокруг да около, и только где-то в середине, а нередко и в самом конце, высказывал свою муку. А он молчал, и это было не пустое молчание, а всецелое углубление в бытие того, кто перед ним. У меня было ощущение, что он всё слышит, всё понимает и различает, и что, пока из меня истекают потоки слов, сквозь его душу текут какие-то другие, добрые струи. Когда же я наконец останавливался, он только мягко отмахивался от меня своей огромной рукою. Его полурадостно-полунасмешливое выражение лица было поистине дружеским и полным любви, он словно хотел сказать: «Да оставь, это ничего, вставай и продолжай жить!». В этот момент я часто думал: «Господи, ну почему он мне ничего не говорит?». Но с первого же шага по выходе из его кельи я чувствовал себя легко и свободно – вроде птицы, что готовится взлететь.

Весьма быстро, ещё очень молодым, я и сам начал исповедовать других в Остроге. Сперва я от этого отказывался, но мне сказали, что так нужно, что таковы обстоятельства. Пользуясь случаем, хочу из многих печальных и удивительных исповедей описать две – те, что потрясли меня на всю жизнь. Пишу я о них потому, что, мне кажется, они смогут быть полезны и вам, читателям этих заметок, как были полезны мне, неизгладимо врезавшись мне в душу – вероятно, даже помимо моей воли.

Раз стоял я как священник у киота Святого Василия. Была осень, этакое затишье, нигде никого. Я начал было молиться.

Но вдруг, как из-под земли, появилась девушка, даже скорее девочка каких-нибудь шестнадцати-семнадцати лет. Была она вся взбудоражена, на лице её читалось отчаянье, она едва держалась на ногах. Сразу от дверей пещеры она начала говорить, направляясь прямо ко мне: «Отче, мой отец убил моего брата, я своими глазами это видела... Я должна это хоть кому-то сказать... Вот, говорю вам!». В этот момент она уже держала меня за руки и вся тряслась. Я, тотчас справившись с волнением, сказал ей, чтобы повторила это Святому Василию – так, мол, будет лучше всего. Она меня послушалась. Когда успокоилась, сказала тихо: «Брат был наркоманом, отец учинил это в гневе. Нет у меня сил на него заявить, он и без того несчастен!». Грудь мою так сдавило, что от боли перехватило дыхание. Она же меня спокойно спрашивала, что ей делать. Не знаю, ни откуда, ни почему, ни хорошо ли то было, но сказал я ей: «Если любишь своего брата, а ты его любишь, то живи и будь хорошей». После встречи с нею три дня носил я эту боль в груди. Пошёл к отцу Лазарю и сказал ему, что больше не могу слушать исповеди, что слаб я, что нет у меня сил. Посмотрел он на меня исподлобья и тихо сказал: «Должно быть, ты услышал что-то страшное. Не волнуйся, это пройдёт. Бог тебя готовит к чему-то, а прежде всего к тому, чтобы ты наконец-то встретился глаза в глаза с настоящей жизнью». Вышел я из его кельи, а от боли в груди и следа не осталось. Осталась только картинка и рассказ, которым, вот, делюсь с вами.

А вот и другой опыт исповеди, которым желаю с вами поделиться.

Раз пришёл ко мне некий господин, уже разменявший седьмой десяток, но внешне красивый и с отменной осанкой, и любезно попросил у меня исповедаться. Я согласился, потому что попросил он от всего сердца. «Знаете, батюшка, – начал он тихо, слегка дрожа, но всё же с достоинством, – я гомосексуалист, хотя уже человек в годах. У меня есть семья, супруга

и дети, и борюсь я с этим всю свою жизнь, но побороть себя не могу». Чтобы прервать молчание, я заговорил – в сущности, я только спросил его: «Эта проблема была у вас от рождения, или развилась позднее?». Его ответ стал для меня полной неожиданностью: «Меня в это ввёл мой покойный несчастный отец». Кое-как подобравшись, я пришёл в себя и на основе всего, что я знал и думал, сказал ему, что, мол, стой в церкви и молись, что Бог милостив, а наше дело бороться и стараться, сколько нам отмерено.

С тех пор прошло два десятка лет, и человек тот недавно упокоился. И ничего здесь не было удивительного, кроме одной вещи, совершенно для меня неожиданной. А именно – повстречалось мне много разных людей, и все они мне сообщали о смерти этого дивного, тихого господина с необычайным к нему уважением и любовью: «Боже, какой хороший человек был!..». Я молчал и спрашивал себя – а что бы думали и говорили эти люди, если бы знали тайну, которую знаю я? Но единственное, что я знал – это то, что покойный сейчас там, где пребывает истина, и что наши суды отличны от суда Христа, который воистину есть суд справедливости и милости.

МЯЧ

Вся моя жизнь связана с мячом. Сколько себя помню, всегда ощущал я его поистине магическое притяжение. Знаю, что это звучит удивительно, но уж подождите судить о том до конца рассказа. Я спрашиваю себя: отчего и почему это так?

В нашем маленьком местечке, где издавна поощрялась игра с мячом (каким-нибудь примитивным шерстяным или волосяным – всё едино), настоящий футбольный мяч впервые увидели в 1960 году. Привёз его из Германии некий гастарбайтер Момир Пантич, мир его доброй и беззлой душой. Тихий, спокойный, ничем не примечательный человек, только этим привезённым мячом он и вошёл в историю нашего села. Говорят, что тогда молодые парни проиграли этим новым настоящим футбольным мячом целые сутки – весь день и всю ночь. Звали их домой матери, грозили кулаком серьёзные великаны-отцы – всё было напрасно. Осталось в памяти, что дед Зеко, известный в селе своей мудростью, изрёк ещё одну пророческую истину: «От сего дня ничто больше не будет прежним!».

У редкого ребёнка тогда был хороший мяч. По какой-то удивительной прихоти судьбы мячи были именно у тех ребят, которые их меньше всего любили. И у них они, кстати, как-то дольше всего сохранялись. Сколько раз я вёл переговоры с

одним мальчиком, чтобы дал нам мяч! Просил, умолял, обещал. Он не был талантлив в игре, но, как владелец мяча, всегда должен был и сам с нами играть, причём никогда не стоять на воротах, хотя мы бы его с радостью поставили именно туда, а с ещё большей радостью – вместо штанги. Мячи были разные: резиновые и пластмассовые, лёгкие и тяжёлые... Лишь единицы знали, что такое настоящий футбольный или баскетбольный мяч. Поэтому играли мы любыми мячами и в любых условиях: зимой – на снегу, весной – в грязи, а летом, на нашей горе – на траве, в самый полдень, до полного изнеможения.

Я старался использовать любую возможность, чтобы никогда не расставаться с мячом. Куда бы я ни шёл, я либо водил мяч ногой по неровной дороге, либо стучал до беспамятства баскетбольным – и по ровному, и по неровному. Сколько самых разных мячей было в моей жизни! Надутых и сдувшихся, твёрдых, живых... Я все их помню. Одним из них, помнится, я и обладал-то всего пару минут, потому что с первого же удара угодил им в какой-то острый кусок кровельной жести. Мать моя из воспитательных соображений этот мяч тут же изрезала ножом на кусочки – прямо у меня перед глазами, полными горьких слёз. Я помню каждый его узорный шов – а ведь и видел-то его только две минуты. Две минуты между абсолютной радостью от того, что мать купила именно мяч и именно мне, и абсолютной грустью, что этот мой несчастный мяч всё та же моя мать отправила туда, откуда нет возврата – за то, что не умел его беречь, как другие дети.

А ещё один мяч, укатившийся от нас по крутому откосу, называемому *Прислон*, мы с братом так больше никогда и не нашли, хотя искали его днями и неделями. Один наш сосед, Драган, любивший всему придать научно-фантастический колорит, сказал нам, что к концу лета придёт в село некий Койя и принесёт кинокамеру, которой разом снимет на плёнку весь лес. Напрасно мы долго ждали Койю и его камеру в надежде,

что так найдём потерянный мяч. Сколько раз потом мы думали: эх, нам бы сейчас тот наш мяч! И чем больше проходило времени, тем пропавший мяч казался нам всё лучше и всё нужнее.

В общем, приспособлялись мы кто как мог. Видя, как мы, и без того истощённые, используем каждую малую передышку в летних полевых работах, чтобы схватить мяч и играть до изнеможения, дед говорил нам:

- Да ведь есть же у вас праздники и воскресенья, тогда и бегайте за мячом за милую душу!

Не помогало, мы за ним бегали каждый день и каждый час. Вечером, уставшие вусмерть, даже после самой тяжёлой работы – косьбы, мы мчались на распутье и там играли, прекращая игру лишь в полной темноте, когда уже ничего больше не было видно. А зимой, когда на горе работы было немного, мы играли на снегу. Был у нас утоптаный участок, который порой превращался в настоящий каток. Нам это не мешало – мы играли! И нас ещё считали маменькиными сынками: ведь наши отцы в наши годы играли на снегу по целой ночи под единственным огромным фонарём, добытым на металлургическом заводе – перед читальней, то есть Домом культуры, в котором, кстати будет сказано, не было книг, а только стол для пинг-понга да граммофон с пластинками. Счёт матча к утренней заре мог быть, например, 289-287.

Надрывались мы и играя в настольный теннис. Правило было – победитель остаётся за столом. И здесь, конечно, самым важным было играть настоящими хорошими шариками. Они ведь – тоже мячики, только лёгкие и требующие высочайшей чувствительности: ты должен и защищаться, и сам бить изо всех сил, полностью чувствуя и шарик, и стол – этакую маленькую и ограниченную площадку.

Играли мы и в баскетбол. Чаще всего такими полурезиновыми пупырчатыми баскетбольными мячами – они были

настолько вытерты, что напоминали самую лысую автопокрышку. Щиты у нас были деревянные, корзины были хорошие, но всегда немного кривые. Корзины давали нам понимание, насколько важно чувствовать мяч. И все оценивали, есть у кого-то чувство мяча или нет, в зависимости от его бросков в корзину. Мяч в баскетболе имеет статус живого существа. Конечно, это так и в других видах спорта, где играют мячом; но в баскетболе, наверное, больше всего, потому что здесь мяч ты ведёшь руками, а цель у тебя комплексная. У меня до сих пор дрожь пробегает по рукам, как представляю, что держу в руках баскетбольный мяч.

Встречал я и другие мячи, как бы в них не запутаться... Волейбольные – они очень красивые, и их нужно очень тонко чувствовать. Мячи для водного поло – ими на суше не поиграешь, они созданы для игры в воде. И, конечно, теннисные, которые всем дороги тем, что ты можешь и должен ощутить их рукой даже через ракетку. Это действительно чудесные мячи. С недавних пор я полюбил даже и мяч для регби. В детстве мы играли в регби, но понарошку. Страшный это спорт, но и великая любовь к мячу – он в этой игре центр всего, как, впрочем, во всех командных видах спорта; но здесь и поле имеет важность... И мяч для бейсбола тоже интересен.

Как бы то ни было, я никогда не люблю терять мяч. И когда мяч теряет наша команда или наш игрок, не люблю. Очень уж грустное это ощущение. А люблю (и верю, что все любят), когда мяч получают. Тогда ты словно становишься кем-то или чем-то другим: творцом, человеком, окончательно держащим судьбу игры в своих руках – или ногах, всё едино. А когда ты теряешь мяч, ты как бы теряешь и свою созидательную мощь. И поэтому игрок счастлив, когда мяч у него, и несчастен, когда мяча у него нет. Ощущение это неопишимо. Го-о-ол! Корзина! Очко! Хороший пас! Это всё только результаты уже пережитого единения с мячом. А единение с мячом подразумевает

и единение с другими. Не конец света, но грустно, когда ты играешь один, пусть даже и с мячом. Эх, когда бы я умел объяснить, о чём говорю...

Из той своей практики я верю, что человек, в действительности, самое похожее на Творца существо не только по облику, но и по тому, что может сделать. Поэтому я убеждён, что человек – не просто *homo sapiens*, он также и *homo ludens*. Ещё осмелюсь припомнить, что Творец все миры и галактики сотворил в форме мяча, как некоторые святители говорили. Представьте себе – мы живём на мяче, нас хоронят в мяче... Ещё премудрый Соломон, а затем Святой Григорий Богослов говорили, что Бог играл, сотворяя мир. Но его игра была совершенным созиданием и разработкой смысла жизни мира.

Мяч любить нетрудно – он пробуждает радость. Может быть, потому, что наша игра этой моделью бесконечности предваряет, открывает нам существование непрестанной радости в вечности – между всеми мирами, которые, чуда дивного ради, сами выглядят как мячи. Может быть, эта игра мячом, как и игра вообще, – провозглашение бесконечного совершенствования в радости Жизни вечной. К сожалению, сегодня вместо мячей детям дают игрушки про войну и убийства. На самом деле все эти игрушки – просто сомнительная ложь по сравнению с мячом, с настоящей игрой. Ими как бы крадут улыбки с детских лиц и лишают детей радости творчества. Дайте своему ребёнку мяч – и будет время для всего, поскольку дитя через хорошую игру научится радоваться. Это сможет сделать его жизнь намного красивее – ведь, когда вырастет, он встретится со многими печальными вещами; драгоценными тогда будут воспоминания о мгновениях игры и радости, что познал он в дружбе с мячом.

И сегодня, хоть я с виду зрелый человек, как только увижу мяч, мне хочется его взять или хотя бы до него дотронуться. На рынке у нас, в Требинье, дети часто играют в футбол. Когда

бы ни проходил я мимо, всегда посылают мне мяч. Я им его быстро возвращаю, тут меня не упрекнуть. И всегда пробую исполнить какой-нибудь финт – иногда даже получается. Что пробуждается во мне всякий раз, когда я вижу мяч? И почему от рождения и до сего дня, а мне сорок восемь лет, не могу сказать «нет» мячу? Какую же мощь имеет мяч и откуда она у него? Какая тайна скрывается под этой формой? Может быть, бесконечность. Тогда бесконечность чего – могущества, игры, чувства? Может быть. Бог знает. А я знаю только, что мне с его мощью и притяжением всё ещё никак не совладать.

–

И ещё кое-что. Не злитесь на наших игроков, даже когда они проигрывают другим командам. Потому что мяч есть мяч – он принадлежит всем, а урок смысла даёт в любом случае: неважно, выигрываем мы игру или проигрываем, получаем мяч или теряем. Только те игроки, которые научились любить партнёра (это нелегко, но необходимо) и уважать противника (это ещё тяжелее, но поистине благородно), – только такие получают венок победителя.

СМЕХ

Правда ли, что смех настолько же стар, как и грех? Насмешка – верю, что непременно так оно и есть, а вот смех – надеюсь, что нет. Я люблю людей, которые по-доброму смеются. Боюсь тех, кто не смеётся вообще. И тех, чей смех похож на насмешку. Опишу вам три случая, когда смех мой был абсолютно искренним и совершенно непредвиденным. Верю, что у каждого в жизни бывали похожие случаи.

–

Как-то подвернулась мне возможность упросить друга дать мне побыть вместо него два-три дня помощником священника, чтобы заработать динар-другой. Получаю от священника, отца Марко, список прихожан, которым нужно объявить о его визите. Обзваниваю их согласно списку, набираю одну старую госпожу:

- Добрый день, я помощник вашего священника. Мы бы пришли к вам завтра утром, между десятью и одиннадцатью, если вы не заняты.

- Отчего нет? Дивно! Приходите. Знаете, я уже в годах, так что постоянно дома, – любезно отвечает старая госпожа.

В половине десятого я уже стоял перед домом священника Покровской церкви. Вышел отец Марко – весь такой серьёзный,

крупный, даже «добрый день» не сказал, а сразу царапнул мне слух своим страшным басом:

- А, ты тот самый умник! Давай-ка посмотрим, каков ты в приходе, в реальной жизни... Куда идём?

- К госпоже такой-то... – тотчас заученно выпалил я.

Пока мы поднимались по лестнице старого здания, всё вокруг отзывалось эхом от собачьего лая. Мы позвонили в дверь.

- Мину-у-у-утку! – отозвалась старая госпожа, борясь с огромным псом.

В конце концов дверь она нам отворила, заперев пса в ванной. На столе уже всё было приготовлено. Ну, и начали мы с пением. Госпожа стояла за нами. Пёс в ванной недолго прислушивался, что происходит, но, когда мы запели, залаял во весь голос. Старой госпоже было неловко, она пыталась успокоить пса, отступив на несколько шагов назад, в коридор. Отец Марко пел, как будто всё в порядке, я вторил ему. Но тут хозяйка просящим голосом воскликнула:

- Марко, прекрати! Ну, что ж ты такой скверный?!

Моему пению пришёл конец. Я давился от смеха. Отец Марко и дальше спокойно пел, пока госпожа умоляла того, другого Марко, чтобы перестал лаять. Пёс немного утих, я вытер было слёзы от смеха, но пёс опять залаял, а госпожа снова его успокаивала, называя по имени. Думал я, что со смеху умру. Когда наконец-то всё завершилось, госпожа у отца Марко, смиренного и совершенно серьёзного, попросила разрешения выпустить пса из ванной, иначе тот не успокоится. Появился крупный пёс, обнюхал сперва меня, а потом двинулся к отцу Марко, который, лениво обернувшись, его поприветствовал:

- Ну, как дела, тёзка?

А на меня только мягко посмотрел с прищуром и добавил:

- А мне говорили, что ты серьёзный парень.

Началась война. В Белграде продолжались демонстрации, отовсюду мы слышали о погибших и раненых, о беженцах и пепелищах. Переселившись из Белграда в требиньский монастырь Тврдош, на Преображение 1992 года я стал священником. Тогда народ наш был ещё, без преувеличения, полукрещён. Мы крестили взрослых людей почти ежедневно, а по большим праздникам – по десятку, а то и по сотне. Редкими были дни тишины и покоя. Но как-то раз, сидя в тени под навесом именно в такой мирный полдень, я услышал негромкие голоса – пришли какие-то люди. Заметив меня, пришедшие сразу направились ко мне.

- Помогай Бог, отче, – говорят.

- Бог вам в помощь. Каким добром, люди?

- Мы пришли, чтобы покреститься, – говорят.

- Э, нет такой возможности, – говорю я. – Никого я не крещу без подготовки, без хоть каких-то знаний о вере!

Был я твёрд и решителен.

- Хорошо, – говорят они, – мы завтра уходим на важную боевую операцию. Так что, если там погибнем – учти, это ты нас не захотел крестить!

Этим они меня тотчас разоружили. Я сдался и уже через пару мгновений повёл их на Требишницу. Нигде никого, абсолютная тишина, только хор сверчков во весь голос исполняет оду невероятной жары. Было это моё первое самостоятельное крещение. Встали мы у реки – два крестящихся черногорца и я. Пока шли, я им проповедовал, и малый катехизис изложил. Они, казалось, упивались каждым словом. И всё, что я им говорил, делали, как по команде. Были это здоровые, сильные люди. «Боже, только бы они не погибли, только бы как-нибудь живыми вернулись к своим милым», – подумал я. И ещё восхищение меня озарило, что вернутся они домой крещёными. Молитва текла тихо и спокойно, как течёт Требишница под Тврдошем. Всё шло, как полагается. В положенный момент,

как это бывает на крещении, говорю им, чтобы повернулись к западу. Они повернулись, спокойно и послушно. Я продолжаю дальше:

- Отреклись ли вы от дьявола?

Они воскликнули ясно и громко:

- Отреклись!

Повторили мы это трижды. После троекратного отречения говорю им, чтобы плюнули на грех, на смерть и на дьявола. Тут один из них и в самом деле смачно плюнул, ещё и прибавил:

- Тьфууу, мать твою вражью!..

Тут-то и настали для меня настоящие мучения: изнутри меня просто распирало смехом, я едва сдерживался. Они же до конца оставались серьёзны и были весьма благодарны. Выпили мы с ними и вина. Потом они ушли, и больше я их никогда не видел. Не знаю, пережили ли они войну. Горячо надеюсь, что пережили. И всегда тихо улыбаюсь, как только их вспоминаю.

—

В тяжёлом военном 1994-ом отправились мы вчетвером на Святую Гору – один добрый старец, один мой хороший друг, некий грустный человек и я. Пока мы плыли на небольшом судне, грустный человек сидел, весь измождённый, стараясь скрыть своё страдание. Это ему не удавалось – любую его попытку убивала неумолимая печаль. Весь он был каким-то усталым, его одолевал сон уже здесь, на корабле. Тот сон будет его преследовать в ходе всего путешествия – как некий рок, утешение или лекарство. Спал он при любой возможности, но возможностей поспать на Святой Горе немного, ведь ночь там есть время молитвы и полноты жизни.

Наш добрый старец использовал каждое мгновение, чтобы вдохнуть побольше святогорской жизни. Ночью мы шли на

бдения, а днём бродили по Святой Горе, разговаривая со святыми людьми. На грустного человека все смотрели с глубоким сочувствием и сожалением. Не знаю, как он себя чувствовал, но нам было не всё равно: посреди всех этих красот мой хороший друг и я подверглись необычному искушению – нас обуял смех. Где бы мы ни присели послушать мудрые речи, когда все широко открывали глаза и уши, мы видели грустного человека – как он, погружённый в сон, раскачивается на стуле. И тут, в атмосфере глубочайшей серьёзности, на нас напал самый страшный смех, какой только может случиться с человеком. Мы мучились, старались, но ни лекарства, ни спасения нам не было.

Добрый старец всё заметил, но выговор нам устраивать не хотел. Заметил наше поведение и грустный человек. С намерением поправить дело я свалил часть вины и на него:

- Умывайся ты, что ли, братец, сделай хоть что-нибудь, мы ж задохнёмся от смеха!

Но и в следующий раз, только мы присели, как он заснул. Качался так, что мы не смели на него посмотреть. Мы щипали себя, кусали губы, молились, но помощи не было. Грустный человек как-то раз проморгался, посмотрел на меня и вспомнил совет про умывание. Тотчас встал и двинулся умываться, но ошибся в направлении – пошёл туда, где вообще никаких дверей не было. Мы не смогли сдержать смех, встали и отвели его в ванную.

Наконец мы пришли в Хиландар. Доброго старца проводили в помещение для знатных гостей, а нас троих поместили в одну комнату. Недолго оставалось ждать рассвета. Человек, что привёл нас в комнату, затопил печь. Печь оказалась с угаром. Последнее, что помню – что задыхаюсь, а пошевелиться не могу. Мы с моим другом уже были без сознания, когда нас разбудил грустный человек. Кислород, льющийся в открытые окна и двери, был нашей соломинкой спасения. Грустный

человек, как и мы, был одурманен, но понял, что задыхается, дополз до дверей, открыл их, а, отдышавшись, открыл и окна; весь испуганный, он и нас, обмерших, разбудил, тряся за плечи и окликаая по имени. Он спас нам жизни – нам, смеявшимся над ним все семь дней нашего паломничества, и больше всего из-за его сонливости.

Немного отдохнув, мы двинулись к пристани – назад в мир, с опытом, который не забывается. Снова мы плыли на корабле, уставшие и слегка задумчивые из-за пережитой прошлой ночью опасности. Грустный человек дружески смотрел на нас с мягкой улыбкой – он был счастлив, что мы живы. Тогда я вспомнил отца Иустина Поповича⁵, который, беседуя с нами на могиле своего друга Бранислава Нушича⁶, припомнил его человеколюбивые слова – любите человека и в грехе, и в смехе его.

Смех имеет необычную мощь – он открывает всякую неискренность. В людском смехе есть и зерно печали, потому что никто из нас не освободился полностью от лжи, греха и смерти. Поэтому степень нашей свободы, наряду с остальным, возможно измерять и искренностью нашего смеха и улыбки.

КАМЕННАЯ СЯЕЗА

*Протопопу Стевану Правице (1854-1925)
и требиньским сербам, замученным
12 августа 1914 г.*

Биелач – типичное село требиньских лесов, небольшое, всего-то с десятков простых одноэтажных домов. Дома каменные, с широкими террасами и беседками, где в душные летние дни найдёшь приятный холодок. Как и остальные сёла того края, Биелач возник на тщательно выбранной широкой поляне, где земля щедра и плодородна, а до Требишницы рукой подать. Хозяйства связывают извилистые тропинки, кое-где даже замощённые, ограждённые камнем или дикорастущим терновником. Дома окружены садами и палисадниками. Тропинки и дома, поля и сады, хлева и конюшни – всё так сливается с ландшафтом, Божьей рукою созданным, словно находится тут от сотворения мира.

Жители этого края сметливы и расторопны, находчивы и трудолюбивы, но и от рождения недоверчивы. Тяжёлым трудом наживают они всё то, чем живут – сыр, мёд, табак и вино. И что бы они ни вырастили или произвели – всё бывало почти безупречного вкуса и запаха, изготовлено по рецептурам и с искусством, передаваемым из поколения в поколение. И так веками.

Главным торговым центром здесь был Дубровник, и жители Биелача, как и почти всех неприбрежных районов Дубровницкой области, со временем изрядно поднаторели в торговле. Вино характерного богатого вкуса и чистый табак доказывали их преданность ремёслам, которыми они всю жизнь занимались. Воспитаны они были патриархально, в христианском духе, ведь поблизости находились три древних монастыря – Тврдош, Завала и Дужи.

В такой христианской торговой семье родился и Стеван Правица – подлинный сын этой каменистой земли и её специфического менталитета. С самого рожденья его подхватила судьба народа, к которому он принадлежал – бунты, восстания, изгнания и разорения. Он был рождён в то время, когда воевода Лука Вукалович поднял в Герцеговине восстание против турок. Стеван был ещё в колыбели, когда родители спрятали его у родных и друзей в Дубровнике до лучших времён – пока не пройдёт восстание, которое Вукалович начал в 1857 году.

Так Стеван и рос в Дубровнике среди великолепных каменных зданий, необычно красивых церквей и крепких, никогда никем не завоёванных стен древней Рагузы. Но всё-таки самое большое впечатление намышлёного мальчишку производили люди – господа и госпожи, а в особенности его дядья- торговцы и священник Георгий Никоялевич, который ежедневно приходил в их дом. Парнишка был восхищён силой и добротой самого известного в то время дубровчанина – Медо Пуцича⁷, служившего отцом и защитником всем герцеговинским сиротам, особенно детям. Горящими глазами мальчик смотрел, как Влахо Буковац⁸ рисует дам из самых знатных торговых семей, жадно глотал стихи своего сверстника Иво Войновича⁹, ходил в театр. Необычной сообразительностью, любовью к книге и священническому призванию он быстро выделился среди своих ровесников.

Услыхав про него, влиятельный Никифор Дучич¹⁰ пригласил его в Белград – на обучение в Богословие. В Белград Стеван прибыл в самую красивую для этого светлого белого города пору – в апреле. Солнце сияло сквозь только что зазеленевшие листьями кроны деревьев, отбрасывавших длинные тени на белградские мостовые. По архитектуре, как и по разнообразно одетым прохожим, можно было заключить, что город был частью турецким, а частью европейским. Больше всего впечатлили Стевана лесистые холмы и две большие реки, тихо обнимающие Белград. Этот город на Саве и Дунае не походил ни на стройный и гармоничный Дубровник, ни на тёплое маленькое Требинье, но был задушевным и открытым. В нём дышалось полной грудью и пахло свободой. Юноша с нетерпением ждал продолжения обучения, поскольку верил, что этим лучше всего сможет помочь родным в их борьбе за свободную жизнь.

Было очевидно, что турки потихоньку пакуют чемоданы и уезжают. Замечалось и всё большее присутствие неких европейских господ. Стеван чувствовал, что Белград воистину становится настоящей сербской столицей. Но, хотя его в этом городе многое привлекало, он постоянно напоминал себе, что он здесь лишь для того, чтобы, многому научившись, вернуться на юг и принести другим свои знания. В этот период им овладевал подлинный просветительский восторг.

Хотя он и провёл детство в Дубровнике, где отовсюду пахло роскошью, тогдашний Белград оставил на нём нестираемый след. Потом в самые тяжёлые мгновения своей жизни он с умилением вспоминал свои прогулки от Калемегдана до Теразий¹¹ с благородным Никифором Дучичем. Надолго врезалось ему в память, с каким энтузиазмом знаменитый герцеговинец говорил об основании и значении Сербской королевской академии, о важности служения Сербской православной церкви и вообще о будущем народа, про который в Европе уже

думали, что ему не пережить турецкого рабства. Стеван тогда и не сознавал, насколько энтузиазм Дучича вселится в его душу, и что будет значить в его дальнейшей жизни.

Достойный всякого восхищения Никифор был ему примером и учителем. Прямой как стрела, широкоплечий, с острым взором, он походил одновременно и на спартанского героя, и на эллинского мудреца. Юный ученик нечасто осмеливался с ним заговаривать, лишь иногда о чём-нибудь спрашивал.

- Простите, отец архимандрит, а почему вы отказались от епископства, ведь вас выбрали Жичским владыкой?

Никифор сжал плечо юноши – в его руке чувствовалась едва сдерживаемая сила, прострелил ученика острым взглядом. Но уже в следующее мгновение Стеван слышал мягкий голос, полный задумчивости:

- Сынок, эта рука саблю держала и людям головы секла.

Ответ был ясен. Затем опять начинался разговор о будущем, а в конце всегда звучало всё то же поручение:

- Твоя служба, молодой человек, – это вернуться учёным в наше Требинье и там школу основать.

Юноша этот наказ принимал с воодушевлением, ещё и не подозревая, какие муки и препятствия будут ждать его на этом пути. Однажды он решился спросить Никифора, правдива ли история, как тот в Цетинье¹² унижил княжеских дружинников: всадил саблю в какой-то пень, заявив, что тот, кто сможет её вытащить – большой удалец, чем он. Тогда Стеван единственный раз видел лёгкую улыбку на лице этого необычного герцеговинца.

- Это немного преувеличено, хотя и правда что-то похожее было. Но тогда я сам быстро отступил, чтобы ради пустого молодчества братская кровь не пролилась. Запомни, сынок: мы, герцеговинцы, во всём такие же, как и наши братья-черногорцы, только они вспыльчивее. В нас кипит одна и та же кровушка, и нам с ними любовь братскую делить нужно,

а не пытаться возвыситься, потому что они того никогда не допустят, – говорил архимандрит, засмотревшись куда-то вдаль.

Закончив училище с наилучшими оценками, Стеван пришёл показать своему покровителю Никифору Дучичу – сообщить, что готов к миссии просвещения своих земляков, которую тот ему давно определил. Сильные руки ещё раз опустились на широкие, как у всех герцеговинцев, плечи Стевана. Без слов глядели они друг другу в глаза. Последовал и последний совет:

- Учи юношей и девушек, уважай стариков и люби Церковь и Сербию!

Вернувшегося в Требинье Стевана Правицу, человека для того времени изрядно учёного, австро-венгерские власти поставили на таможенную службу на административной границе между Требиньем и Дубровником. Эта служба продлилась всего год, поскольку выяснилось, что Стеван настроен просербски, что не было на руку австро-венграм. В исключительно тяжёлой обстановке он приступил к основанию в Требинье первой начальной школы. Только немногим раньше того начала работу школа в монастыре Дужи, всего в один класс, где учительствовал Митар Пантич.

Именно в ту пору, почти сверхчеловеческими усилиями тогдашних священников, знатных горожан и верующего народа, строилась в Требинье большая Соборная церковь, а возле неё и здание церковной школы. Церковь эта и ныне выглядит великолепно, а с какой любовью и каким подвигом она строилась, лучше всего свидетельствует предание, согласно которому строители, работая, затыкали за пояс небольшие каменные плиты: они были настолько голодны, что нужно было чем-то прижать к хребту пустые животы. Тем не менее, работу они не оставляли, а весь свой дневной заработок жертвовали на строительство церкви.

Глядя на их упорство и волю, и Стеван отважился начать со школой. Трудности были тем сильнее, что мощная Австро-Венгерская империя его игнорировала, не давая его начинанию никакой финансовой поддержки. И всё же в 1880-1881 учебном году Стеван, невзирая на затруднения, осмелился принять в сербскую православную начальную школу сорок четыре ученика – тридцать мальчиков и четырнадцать девочек. Среди первых его учеников, записанный под порядковым номером 19, был и Йово – сын покойного Андрея Дучича¹³ из Рупьела. Молодой учитель Стеван и представить себе не мог, что в его классе сидят будущие врачи, преподаватели, поэты, благотворители и учёные. Ученики же смотрели на него широко открытыми ясными глазами, а сердца их горели желанием многого добиться в жизни.

Хоть и медленно и мучительно, но с надеждой и верой продвигалось строительство церкви и школы; росли также знания и взаимная радость учеников и их учителя. Между тем, жизненные условия были к нему немилосердны. Приходя домой, учитель заставал там грустную супругу, которая всё терпит, всё стойко переносит и надеется, но уже не может выносить такой нищеты, когда ей и в город не в чем выйти – а ведь она жена господина учителя! Часто сидели они с женой обнявшись – верили, что так легче голод терпеть. Не обращать внимания на это было невозможно, но он никогда даже не помышлял отказаться от учительского труда. А многие его убеждали, что только так он сможет положить конец своим мучениям – ведь на государственной службе места для него не было, помимо прочего, и из-за школы, которой он себя посвятил.

О жертвенном служении учителя узнал мостарский митрополит Серафим Перович, который не был в плохих отношениях с Австрией – напротив, его чуть было не погубила Турция. В 1890 году Серафим назначил Стевана своим секретарём в Мостаре, а потом и дьяконом. Мостар стал для Стевана новым

миром, одновременно красивым и привлекательным, загадочным и непонятным. В этом городе он познакомился с необычными сербами – господами, имевшими дома и торговлю в Триесте. Они говорили по-немецки и по-итальянски, одевались по-европейски. У них были театры и культурные общества. Это были люди, стремящиеся к культуре и её продвижению. Встретил он и мусульман, людей отменных и дружелюбных, любивших христиан как родных. И хорватов, которые, хоть и находились в знатном меньшинстве, но, тем не менее, тоже на свой лад соглашались с этим общим сближением. В Мостаре Стевану всё казалось невероятным – то и дело его охватывал трепет, медленно, но верно перерастающий в страх и недоверие. По его впечатлению, Австрии отнюдь не нравилось такое единство и приятельство разных народов и религий в Мостаре. И это было ему удивительно – он ожидал, что австрийцы будут лучшими оккупантами, нежели были турки. Исполняя свои секретарские обязанности, он порой откладывал в сторону карандаш и задумчиво сидел, объятый беспокойством и страхом: представлял себе, какие беды и несчастья могут вспыхнуть между братьями, если враг того пожелает. Своей озабоченностью он осмелился поделиться с митрополитом, который его успокаивал, отвечая, что в Мостаре такое никому спровоцировать невозможно. Митрополиту, тем не менее, так никогда и не удалось в этом до конца убедить своего помощника и сотрудника.

Потом последовало возвращение Стевана в Требинье и тридцать три года его священнослужительства. Служба священником в Требинье была настоящим вызовом – из-за специфического менталитета и врождённой подозрительности тамошних людей. От священника ожидалось, что он будет и ратник, и вождь, и духовник, и учитель. Ожидалось, что он привыкнет быть для своих прихожан как хорошим, так и плохим, что его будут как уважать, так и охаивать. А вот

ответственность и заботу он должен взять на себя не только за духовные потребности народа, но и за всё прочее, что делается на земле и в жизни. Можно сказать, что священник тогда (как, впрочем, и сейчас) – это был дворянин не лучше и не хуже остальных: умён и образован, но не надменен; открыт и приятен, но при этом храбр и решителен. Нужно было жить одной жизнью с народом, при этом оставаясь умеренным в каждом деле и в каждом слове. Это было непросто, но тот, кто выдерживал – становился во всём уважаем и ценен, и никогда больше не был предоставлен сам себе, и уж тем более не оставался с пустыми руками. Со временем он становился их, народным священником, а они – народ, к которому он принадлежал, – его народом. Они защищали его перед другими, а между собой всегда его понемножку укоряли, оговаривали, наблюдали и анализировали. Священник был для них и авторитетом, и слугой; они знали, что он верует, и, слушая Бога, служит Богу. Поэтому в этом краю не было необычным, что священнослужители были повстанцами, учителями, просветителями, деля и радость, и горе со своей паствой, от которой даже одеждой не отличались. Так уж повелось, что ходили они в обычной одежде, облачаясь в рясу лишь по самым торжественным случаям. В общем, они были настолько же богатыми или нищими, насколько и народ, с которым они жили.

Народная борьба за существование и забота о хлебе насущном, пронизанные сильной волей к построению и сохранению христианской и сербской идентичности, во всём имели одну-единственную основу – Церковь и православие. Но в народе, разочарованном неудачными восстаниями и их губительными последствиями, хватало проявлений всевозможных слабостей – то тут, то там появлялись сплетники, клеветники, мизантропы, просто угрюмые. И священник Стеван укорял малодушных, обнадеживал напуганных, изобличал лгунов. Но наибольшее утешение он находил в Боге и в тех чудесных

людях рыцарского духа – высоких, смиренных, скромных и умных, настоящих хозяевах, – каковых в этом краю в каждом местечке было по меньшей мере двое или трое. Разговоры их, исполненные барственной вальяжности, были сдержанными, дружескими, культурными и воистину христианскими, словно окропленными любовью и каким-то умным оптимизмом, верой и надеждой на лучшее будущее. Высказанная невзначай мысль о том, что за ними следят турки, а теперь и новые оккупанты, вызвала бы лишь улыбки на их благородных лицах.

А потом наступил роковой 1914-й – год покушения в Сараеве. Австрийского престолонаследника убил Гаврила Принцип¹⁴, участник организации «Млада Босна»,¹⁵ человек молодой, храбрый и вспыльчивый. Кто его и его друзей к этому подтолкнул – и по сей день загадка. Как известно, после этого покушения сербы пережили дотоле невиданные погромы по всей Боснии и Герцеговине. Грабежи, поджоги, унижения и убийства людей. И хотя австрийскими властями в городах всё представлялось как спонтанное возмущение неких хорватов и мусульман, быстро выяснилось, что ничего спонтанного в этом не было. Протопоп Стеван, прослышав про их намерения запалить и разрушить в Требинье сербские дома и ограбить лавки, с пастырским посохом в руке пошёл к гражданскому наместнику Брауну. Строго выговорив австрийцу, что так не годится, потребовал, чтобы тот пресёк насилие. И, хотя упомянутый наместник не питал к нему ни любви, ни уважения – даже наоборот, непрестанно строил козни, желая погубить, – это протопопово вмешательство оказалось успешным: в Требинье не случилось того, что происходило в Сараеве и в других городах.

Но на этом несчастья не закончились. Когда были введены военно-полевые суды, случилось нечто намного худшее. Семьдесят девять самых уважаемых людей и хозяев требиньского края предстали перед судом, среди них и четыре женщины.

Это были именно те люди, что всегда служили протопопу поддержкой, опорой и утешением. И все были осуждены на смерть через повешение. А требиньский наместник-австриец приказал протопопу их перед казнью исповедовать, словно тем хотел насытить свою озлобленность.

Стеван чувствовал, что приближается решающий час. И, глядя на своих друзей, слушал, как они спокойно, прерывистыми голосами исповедуются. Вся их исповедь заключалась в нескольких словах:

- Решил я, отче, да простит меня Бог!

И никакой злобы, никакого страха – только волнение и тревога за тех, кто остаётся под рукой у ненавистников. Протопоп держал крест в руках, а сердце его обливалось кровью. Лицо его стянулось в судорожную гримасу боли и печали за друзей, никогда его не предававших. Не мигая, он смотрел на этих исполинов, кротко идущих на виселицу.

Священника Видака Парезанина он исповедовал последним, а потом попросил, чтобы тот исповедовал и его самого. Ощущал он вину за то, что не осуждён, казалось ему в тот час постыдным оставаться в живых. Он стоял и застывшим взглядом смотрел, как его собрат подходит к виселице, спокойно крестится, а потом громогласно восклицает:

- Слава Богу! Да здравствует Сербия!

Все осуждённые один за другим последовали его примеру. Тут среди злодеев-палачей настало великое замешательство – их охватил страх, неверие и растерянность. А старый учитель и протопоп стоял прямо, как кипарис. В уголке его глаза заблестела белая и светлая слеза – и тут же окаменела. Когда всё завершилось, народ, ища утешения, двинулся в церковь, находившуюся в пятидесяти шагах от новой герцеговинской Голгофы. Людей в храме понемногу прибывало, женщины и дети скулили от боли и горя. Протопоп стоял на амвоне – белый, с серебряной бородой, высокий, но ссутулившийся,

с окаменевшей слезой в глазу он не мог различить ничьих лиц. Перед ним был его народ – только что осиротевший самым страшным образом.

- Братья и сёстры, учите детей добру, ибо зло всегда в конце побеждено будет. Зло погубит само себя, а нам сто лет потребует, чтобы оправиться от беды, с нами приключившейся, да и то – лишь если будем склоняться к добру. Запомните – зло преходяще. Пройдут эти сто лет, мы дождёмся свободы, и возрадуются души сегодняшних мучеников! – завершил протопоп дрожащим голосом свою краткую проповедь.

Каменная слеза потечь не могла, жгла ему глаз и туманила взор. Казалось ему, что вот-вот его сердце лопнет, но он не мог, не смел быть слабым на глазах у стоящего перед ним народа. С того дня протопоп Стеван говорил мало. Никто больше не видел его смеющимся.

Пришла свобода. Когда возвращались добровольцы салоникского фронта, было устроено великое празднество. Позвали и старого протопоп Стевана, но он был настолько скрючен болью, что его и узнать не могли. И, сам доброволец балканских войн, состарившийся и седой, он не восторгался наступившим миром. Словно предчувствовал, сколько ещё войн, крови и несправедливости принесёт нам двадцатый век. До него словно не доносилась общая радость окончания Первой войны. Напротив, она лишь утвердила его в мысли, что войны нас и убивают, и укрепляют одновременно – потому что и мы, по мере своей жалости и боли, умираем вместе с теми, чьи жизни были насильно угашены, но в то же время и дальше живём с ними, по мере своей веры в вечную жизнь, по мере воспоминаний и надежд. Так протопоп Стеван и жил – в единении со смертью и жизнью своих семидесяти девяти прихожан.

Лицо его осталось благообразным, но в страданиях он согнулся и ссутулился. Чаще всего глядел в землю, редко поднимая взор. Казалось ему, что каждый видит окаменевшую

слезу в уголке его глаза. И что в этой слезе каждый может видеть и семьдесят девять людей, которых он исповедовал под виселицами. Та слеза была его крест и его боль; она была словно камень, ждущий, что его сдвинут с могилы, когда воссияет свет Воскресения. Как-то сроднился он с той каменной слезою, нося и храня её как залог, как добровольную ношу, как неуничтожимое воспоминание, терпеливо и смиренно веруя, что надо выдержать до конца, до того часа, когда больше не нужно будет скрывать её от чужих взглядов.

Когда слышал, как кто-нибудь из знаменитостей радуется победе и говорит, что всё кончено – вспоминал своих убиенных друзей и шептал:

- Сто лет нам потребуется... – а потом опять погружался в некий совершенный мир, полный боли и надежды. Так и жил он до своего последнего вздоха*.

—

Двенадцатого августа 2014 года исполнился ровно век с того страшного дня, когда в Требинье в знак несправедной мести были убиты лучшие из лучших людей. Перед требиньской Соборной церковью в камне высечены слова о том, что этот город испокон веков рождает поэтов, героев и мучеников.

А сегодня – так ли это, по-прежнему ли?

Ходят ли всё ещё среди нас люди, похожие на загубленных в 1914-м?

* Похоронен с южной стороны алтаря великолепной Соборной церкви в Требинье, которая и воздвигнута больше всего его заслугой. На надгробной плите написано: «Здесь покоится протоиерей-ставрофор Стеван Правица, родился в 1854, умер в 1925 году. Служил он верно Богу и народу сорок четыре года, из которых одиннадцать лет – как сербский учитель, и тридцать три года – как священник. Из благодарности этот памятник ставит ему сербский народ Требиньской общины». В день его похорон в Требинье и окрестностях все мастерские и лавки были закрыты, и почти весь народ пришёл на отпевание.

Наберётся ли таких хотя бы семьдесят девять?

Верится, что такого их числа было бы достаточно, чтобы потекла наконец протопопова слеза, сто лет стывшая камнем.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

Стр.
8

1. Иво Андрич (серб. Иво Андрић, 1892–1975) – выдающийся югославский писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы (1961).

Стр.
9

2. Хиландар – один из афонских монастырей, основан в 1198 г. сербским архиепископом Св. Саввой и его отцом, сербским князем Стефаном Неманьей. Одна из величайших сербских религиозных святынь.

Стр.
18

3. Богословие – здесь: Сербское православное училище богословия «Святой Савва» в Белграде.

Стр.
23

4. Брояница (серб. бројаница, от број – число) – род чёток в балканских православных странах: соединённая в кольцо полоса из узелков, связанная, как правило, из овечьей шерсти особым плетением.

Стр.
40

5. Иустин Попович (серб. Јустин Поповић, 1894–1979) – архимандрит Сербской православной церкви, доктор богословия, автор многочисленных духовных произведений, в том числе 12 томов «Житий святых». В 2010 году канонизирован в лике преподобных, память совершается 25 марта и 30 августа.

6. Бранислав Нушич (серб. Бранислав Нушић, 1864–1938) – сербский писатель и драматург, автор многих сатирических и юмористических произведений, классик сербской литературы.

Стр.
40

7. Медо Пуцич (хорв. Medo Pucić, 1821–1882) – хорватский историк, публицист, поэт, представитель далматинского Возрождения середины XIX века. Его научные труды и поэтическое творчество были проникнуты идеями иллиризма и хорватско-сербского сближения.

Стр.
42

8. Влахо Буковац (хорв. Vlaho Bukovac, настоящее имя Бьяджо Фаджони, 1855–1922) – крупнейший хорватский художник конца XIX – начала XX вв.

9. Иво Войнович (серб. Иво Војновић, 1857–1929) – сербский писатель и драматург, с 1911 г. – основной драматург Хорватского народного театра в Загребе.

10. Никифор Дучич (серб. Нићифор Дучић, 1835–1900) – архимандрит, сербский учёный и общественный деятель. В 1861 г. был правой рукой Луки Вукаловича – предводителя герцеговинского восстания против турок, в войну 1876–1878 гг. командовал повстанцами на юго-западной границе Сербии. С 1899 г. – почётный член Санкт-Петербургской Академии наук.

Стр.
43

11. От Калемегдана до Теразий. Калемегдан – историческое место в старой части Белграда (непосредственно Белградская крепость и парк рядом с ней). Теразии – центральная площадь Белграда.

12. Цетинье (серб. Цетиње) – город в Черногории, с

Стр.
44

1878 г. – официальная столица княжества.

Стр.
46

13. Йово покойного Андрея Дучича из Рупьела – имеется в виду Йован Дучич (серб. Јован Дучић, 1871–1943) – сербский боснийский поэт, писатель и дипломат.

Стр.
49

14. Гаврила Принцип (серб. Гаврило Принцип, 1894–1918) – сербский революционер-националист, член организации «Млада Босна». 28 июня 1914 г. совершил убийство австро-венгерского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило формальным поводом для начала Первой мировой войны. Австро-венгерским судом приговорён к 20 годам каторги. Умер в заключении от туберкулёза.

15. «Млада Босна» (серб. Млада Босна, Mlada Bosna – Молодая Босния) – сербская боснийская революционная организация, в 1912–1914 гг. борováшаяся за присоединение Боснии и Герцеговины к Великой Сербии. Запрещена австро-венгерскими властями после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда.

Стр.
60

16. Млечане – венецианцы.

Стр.
61

17. Усташи (хорв. ustaše – восставшие, повстанцы) – хорватская фашистская ультраправая националистическая организация, с апреля 1941 г. по май 1945 г. стоявшая во главе марионеточного Независимого государства Хорватия.

Стр.
65

18. Алекса Шантич (серб. Алекса Шантић, 1868–1924) – сербский поэт, писатель, драматург. Родился и жил в Мостаре (Герцеговина).